

СТЕНОГРАФИЯ НАЧАЛА ВЕКА

Фрагменты дневниковой эссеистики. См. «Зарубежные записки» 4, 2005.

Возвращение здравого смысла

В недавнем «Огоньке» кинорежиссер С. рассуждает о том, что свобода не благоприятна для большого искусства. «Свобода – это отсутствие координат». «Рынок сделал своё дело – появились обслуживающие литература, кино, живопись... но вряд ли они породят какой-то шедевр». «В наше общество вернулся здравый смысл». Но «здравый смысл и искусство, в общем – полярные вещи». Определённого успеха можно добиться «на уровне энтертейнмента». Это слово пишется по-русски, как и слово трэш. Одно издательство выпускает даже серию книг «Коллекция трэш». Я решил уточнить набор синонимов по словарю: trash – отбросы, хлам, мусор, макулатура, плохая литература, ерунда, вздор, халтура...

Всё это в порядке вещей, так и должно быть. Когда-то, глядя на благополучных западных людей, и сейчас, читая самодовольные рассказы наших успешных деятелей, я пытался понять одно: насколько счастливы эти люди, насколько по-настоящему ощущают они свою жизнь? В. рассказывает о своих банковских сотрудниках: им не о чем говорить, только о вещах, кто-то чувствует себя несчастным оттого, что у сослуживца часы лучшей марки, чем у него. Е.Т. рассказывает, как, приехав в очередную страну, очередной город, люди не успевают там ничего увидеть, занимаются шопингом, увозят не впечатления – сумки с покупками.

(Сколько, между прочим, английских слов приводится без перевода.)

Купив в эти же дни новый картридж (вот ещё одно слово, и не заменить его русским), я стал приводить в порядок распечатку стихов – и вспомнил один давний:

Скучно думать, приятней расслабиться
Без усилий, без испытаний,
Под ритмичный переплеск
Равномерных посильных занятий,
Наплывающих впечатлений,
Где на очереди конец.

Читая «Беседы с А. Шнитке»

Для Шнитке шлягерность – наиболее прямое проявление зла в искусстве. Шлягерность – символ стереотипизации мыслей, ощущений. «Это и есть самое большое зло: паралич индивидуальности, уподобление всех всем».

«Естественно, что зло должно проявляться. Оно должно быть приятным, соблазнительным... Я не вижу другого способа выражения зла в музыке, чем шлягерность...»

Выражение негативных эмоций – разорванная фактура, разорванные мелодические линии... – это тоже, конечно, изображение некоего зла, но зла не абсолютного. Это – зло сломанного добра... Выражение истеричности, нервозности, злобы – есть выражение болезни, а не причины. А вот шлягерность – ближе к причине».

Одно его высказывание меня озадачило. «Я себя ловлю на том, что сейчас – в отличие от того, что было раньше, – мне человек сразу ясен. Сразу, окончательно ясен. И мне стало страшно скучно. И вообще мне ужасно скучно».

Вспомнилось, как я подошёл к нему однажды, неловко попробовал заговорить, он (после инсульта) пытался приподняться со стула, Элем Климов его удерживал, укоризненно давая мне понять: вы же видите, человеку трудно. Стал ли я ему сразу ясен? (Я сказал ему, что недавно слушал его альтовый концерт, но не мог сразу назвать, какой.)

Но ведь так не бывает, не может быть. «Он, наверно, конструировал человека и думал, что всё о нем знает, – предположила Г., когда я заговорил с ней об этом. Никто не может быть окончательно ясен, каждый так сложен. Ты сам себе ясен?»

Возможно, он не совсем точно выразился. Но замечательно продолжение: «У меня такое ощущение, как будто голову мою вырвали из этого мира, а меня оставили в нём. И я делаю то, что уже знаю».

Это похоже на самочувствие моего нынешнего героя.

На удивление болезненной оказалась для Шнитке национальная проблема. Полуеврей, полунемец, еврейского языка и культуры не знает, но с детства чувствовал себя евреем, когда его обзывали «жид». Внешность еврейская. «Во мне нет ни капли русской крови», – не раз повторяет он. И при этом чувствовал себя принадлежащим русской культуре (даже русской музыке, что для меня не совсем понятно). На Западе, даже в Германии, на языке которой стал говорить раньше, чем по-русски, чувствует себя не совсем дома. «Я хочу жить здесь и там».

Для меня многое определённой. Пишущий человек особенно принадлежит стране своего языка, своей культуры. Что значит кровь? Мне кажется более существенным то, что этологи называют, кажется, импринтингом – запечатлением. Конрад Лоренц сделал потрясающее открытие: для утят матерью оказывается первый движущий предмет, который они увидят, вылупившись из яйца. Он отсадил в последний момент с яиц утку, задвигался перед утятами сам – и деревня изумлённо наблюдала, как свеженький утиный выводок шествует за человеком в шортах к пруду и входит вслед за ним в воду. Для человека решающими оказываются первые «запечатлённости»: лицо матери, голос, запах, слово, язык, пейзаж, первые колыбельные, первые сказки, «Колобок», «Репка» – до понимания. Потом будут другие сказки, может быть, другие страны, другие люди, другой язык – но это запечатлется неизгладимо, неосознанно, необъяснимо.

Возможно, есть память ещё глубже – память до рождения, память крови, но об этом я судить не готов.

Salon du livre

Париж, книжная ярмарка. Утром – встреча с детьми, читателями моей сказки «Учитель вранья». Они ехали из пригорода, задержались – была забастовка железнодорожников. Переводчик, имени которого я при знакомстве сначала не расслышал, сказал: «Это шантаж. Только во Франции государственные служащие имеют право на забастовку. Работники частных предприятий должны вставать в 5-6 часов утра, чтобы пешком дойти на работу. И ничего с этим невозможно поделать. Меньшинство диктует свои условия большинству. В России большевики захватили власть, хотя тоже были меньшинством». Когда французы стали меня представлять, он услышал, что я переводил с немецкого, спросил, знал ли я Богатырёва, Копелева. Это оказался Никита Кривошеин, сын соллагерника Копелева. Я попросил у него электронный адрес, сказал, что пришлю свой текст о Копелеве. Среди школьников были темнокожие и арабы, они держались особняком. «Вы обратили внимание на этнический состав?» – спросил меня Кривошеин. Когда я повторил свой вопрос, который задавал здесь многим: падает ли уровень образования из-за притока в школы людей, которые плохо знают язык, культуру? – он ответил мрачно: «Это катастрофа». Среди вопросов, которые мне задали школьники (с подачи учителей, я думаю), был такой: почему у меня кот в шлёпанцах? Я ответил: «Помните, у Шарля Перро он был в сапогах?» Оказалось, дети не знали «Кота в сапогах», вообще Шарля Перро. У нас, мне кажется, его знают все. Встре-

ча прошла неплохо, дети читали свои сочинения для школы вранья (написанные, скорей всего, с помощью учителей).

Вечером посидели в ресторане с моей переводчицей Л.Т.. Я заговорил о парижской атмосфере, которая отличает этот город от Москвы: спокойствие, доброжелательность, улыбочивые лица, нет пьяных. Она покочала головой: здесь тоже проблемы. И рассказала, как на демонстрацию школьников, которые протестовали против какого-то нового закона, напали парни, в том числе темнокожие, стали избивать. Причины, по её словам, не расовые, не идейные — просто проявление агрессивности, которая ищет выхода. Надо, конечно, сознавать, что наши впечатления — впечатления экскурсантов.

Кривошеин откликнулся на присланный мной текст о Копелеве («позднем Копелеве», как написал он). Сам он познакомился с ним ещё в 54-м году, у него другие воспоминания. «В Марфино он подарил моему отцу к 50-летию 2 тома Ленина по-французски и сам написал предлинную поэму во славу т. Сталина — наподобие Моисея, он вёл жестоковыйный русский народ к светлому будущему».

Счастье концлагеря

В «Иерусалимском журнале» тягостно было читать роман нобелевского лауреата Имре Кертеса «Обездоленность». Два года (1944–45) из жизни еврейского мальчика, сначала в Венгрии, мобилизация в рабочий батальон, работа на заводе, потом концлагерь, Освенцим, Бухенвальд, наконец освобождение, возвращение в Будапешт. Через всё это автор прошёл сам. Тщательно выписанные подробности невыносимой повседневности — и стремление к ней приспособиться, даже примириться с ней. Невыносимо. Некоторые страницы я, признаться, пропускал, бегло пролистывал.

Но самые последние страницы меня просто ошеломили. В Будапеште люди сочувственно расспрашивают подростка о пережитом. «Тебе надо забыть эти ужасы», — говорит один. Его ответ слушателей изумляет: «Я не замечал, чтобы были ужасы». — «Что это значит, — хотели они знать, — “не замечал”?» «Тогда я, в свою очередь, у них спросил: а они что делали в эти всем известные “тяжёлые времена”?» «Как сказать... жили», — задумался один.

Тут я, чтобы перепроверить память, открыл свой роман «Возвращение ниоткуда»: буквально то же произносит в своем «последнем слове» перед абсурдным судом рассказчика: «Мы жили». Потом продолжил чтение.

«Старались выжить», — прибавил другой. Стало быть, они тоже всё время делали шаг за шагом, — установил я. Как это понимать: делали шаг за шагом? — не поняли они, и тогда я им тоже рассказал, как это происходило, например, в Аушвице... Десять-двадцать минут на ожидание, пока дойдёшь до той точки, где решится: сразу ли в газ или ещё один шанс. Между тем очередь всё движется, всё подвигается, и каждый делает шаг, то поменьше, то побольше... Мы никогда не можем начать новую жизнь, всегда только продолжаем старую. Шаг за шагом делал я, и никто другой, и, я объявил, в заданной мне доле я всегда хранил порядочность... Того ли они хотят, чтобы вся эта порядочность и все мои предыдущие шаги, все до одного, потеряли всякий смысл?.. Нельзя, пусть попробуют понять, нельзя отобрать у меня всё».

Как это нам знакомо, какое тут обобщение! Это не только о концлагере. «Когда я прошёл диктатуру Ракоши 50-х годов, восстание 1956 года, его подавление и особенно последующий длинный процесс приспособления кадаровских времён, когда приманили к себе людей — вот тогда я понял, что же такое произошло в Освенциме», — говорит Кертес. Приводя эти слова в предисловии к публикации, Жужа Хетеньи (которая перевела роман вместе с Шимоном Маркишем) пишет «о негативной инициации человечества, вступившего после Катастрофы в новую эпоху».

А может, ещё до Катастрофы — у нас через схожий опыт прошли раньше.

«Хотелось бы ещё немного пожить в этом славном концентрационном лагере», — ностальгирует на свободе герой. «В известном смысле жизнь там была чище и проще... Ведь ещё там, даже рядом с дымовыми трубами, было в перерывах между муками что-то, походившее на счастье. Все спрашивают только про тяготы, про “ужасы”: а между тем, что до меня, может быть, это пе-

реживание останется самым памятным. Да, о нём, о счастье концентрационных лагерей надо было бы им рассказать в следующий раз, когда спросят.

Если вообще спросят. И если только и сам не забуду».

Как нам это знакомо!

Позвонил в дверь сосед-алкоголик, попросил одолжить денег «на нитроглицерин». Вдруг сказал: «Я вам принесу статью о моём отце. Знаете, кто был мой отец? Круглов, министр внутренних дел в 1945-55». Галя ахнула: «Нет, про него статью не надо». – «Он ничем не замаран», – понял её реакцию сосед. «Как же не замаран? – сказала Галя. – А Ленинградское дело, дело врачей?» (О Ленинградском деле как раз недавно была впечатляющая передача по ТВ, да ещё вчера на ночь она зачиталась книгой о цензуре). «Это КГБ», – откликнулся он. «А лагеря – это МВД?» – «Лагеря – это строительство, восстановление после войны». Дальше не о чем было говорить. У меня где-то есть запись об этом совершенно опустившемся большом человеке, нашем ровеснике. Соединяется: сын министра внутренних дел, алкоголик, просит денег на выпивку.

Симонов и Пригов

Вспомнилось, как в 93-м году мы гуляли с женой по Лондону, и я вдруг стал читать ей стихи:

Бывает так: большевику вдруг надо съездить в Лондон,
Увидеть двухпалатную британскую систему
И выслушать бесплатно там сто пять речей на тему...

Цитирую по памяти, наверно, с ошибками. Не буду сейчас воспроизводить всё:

...И стали до того свободными,
Какими видим их сегодня мы,
Свободными до умиления
И их самих, и населения.

– Знаешь, чьи это стихи? – спросил я.

Она подумала и сказала:

– Пригов.

Это был Симонов. Удивительно, чуть ли не 50 лет помню наизусть. Пушкина не всегда помню, а это застряло в мозгу.

С Приговым я был знаком шапочно. Когда незадолго перед тем мне вручали Букеровскую премию, он подошёл поздравить и, подняв указательный палец, сказал наставительно: «Не зазнавайтесь».

Я долго не мог себе простить, что не нашёл сразу достаточно остроумного ответа. Это потом мне стало приходиться на ум разное, а тогда я был всё-таки возбужден, раздёрган. Стал бормотать что-то вроде: где уж мне зазнаваться, когда я вижу перед собой таких классиков.

Но время спустя я получил полное удовлетворение. Я выступал в Лондонском университете и возле аудитории на стене рядом с объявлением о встрече со мной увидел другое: о встрече со всемирно известным поэтом-абсурдистом Д.А.Приговым.

Вернувшись, я довольно скоро получил возможность рассказать Пригову об этом объявлении. Он пожал плечами:

– Здесь всё верно, кроме одного: поэт-абсурдист. Я не абсурдист.

И тогда я, предчувствуя торжество, поднял указательный палец и сказал Дмитрию Александровичу наставительно:

– Не зазнавайтесь.

Боже, какой беспомощный лепет услышал я в ответ! Этот признанный остроумец стал бормотать: как я могу зазнаваться, если знаю, в какой великой литературе я работаю... – что-то в таком же духе.

Я от своих комплексов мгновенно избавился.

Манифест европейских тружеников

Брюссель. Hotel «Royal crown». Я приехал сюда по приглашению фестиваля «Европалия», который периодически проводится здесь под эгидой бельгийского короля – своего рода демонстрация культурной общности европейских народов. В этом году страной-гостем оказалась Россия.

Спустившись впервые к завтраку в ресторан, я не без удивления отметил, как изменился за последнее время тип деловых людей. Отель четырехзвёздочный, здесь останавливались обычно солидные бизнесмены, преимущественно это были мужчины в строгих костюмах, при стильных галстуках. Теперь в роскошном интерьере преобладали дамы, одетые разнообразно и уж никак не солидно – я очередной раз почувствовал, как успел отстать от европейской моды. Внешность многих я бы назвал нестандартной: за столик напротив уселась мужеподобная, гренадёрского роста женщина, её соседка сияла пышной лиловой причёской, да и вся была – как бы это сказать? – ну да, пышная, внушительных габаритов. Представительские карточки на бюстах издали я прочесть не мог. Современные *businesswomen*. Мужчины среди них просто терялись, да и выглядели как-то совсем уж непредставительно: вертлявые, мелковатые, в ношеных джинсах, курточках...

Лишь выйдя из ресторана в холл, я обратил внимание на небольшую табличку: «Sex work, human rights. European conference». В отеле «Royal crown» проходила общеевропейская конференция проституток. Точней сказать, именно «сексуальных работников». Можно даже сказать, пролетариев. Создавалась международная профессиональная организация: «International union of sex workers».

Писательское любопытство заставило меня спуститься на нижний этаж, в зал, где они собирались. Над входом висел большой бумажный плакат: «Sex workers of the world united». На столиках разложены документы, на стенах цветные фотографии, где свои достоинства в боевой готовности демонстрировали почему-то одни лишь мужчины. Они здесь тоже были, естественно, при деле: *sex workers*. Фотографии женщин были на удивление скромными, зато сопровождались текстами и даже стихами, где сексуальные труженицы делились своими чувствами и мыслями, обсуждали волнующие коллег проблемы. На мужчин мне смотреть было неинтересно, вообще человек в моём возрасте выглядел здесь, наверное, не совсем уместным (хотя дамы встречали и провожали меня взглядами спокойными, безразличными). Я лишь взял со столика документы конференции на английском и немецком языках, чтобы потом, вечером, почитать.

Сразу показалось немного странным, что тексты манифеста “Sex workers in Europe” на обоих языках были не вполне идентичны. Английский манифест не делал различия между полами, в немецком варианте говорилось только о женщинах: “Sexarbeiterinnen in Europa”. Порой вообще возникало впечатление, что речь для немцев идёт преимущественно о правах лесбиянок и их партнёрш – “unserer Partnerinnen”, которых несправедливо считают сутенёршами и эксплуататоршами: “Zuhälterinnen und Ausbeuterinnen”. Формы женского рода в таком контексте как-то всё же сбивали с толку. Понятней, да и демократичней звучал манифест английский – там выражался протест против нарушения человеческих прав любых работников этой самой “sex industry”, как их ни называй: “the labeling of our partners as pimps and exploiters”. Но, впрочем, и по-английски, и по-немецки говорилось о том же: о праве на труд, на социальное обеспечение, на участие в политической деятельности, о свободе передвижения, отмене обязательной регистрации и медицинского обследования, требовалось право на убежище независимо «от пола и сексуальной ориентации»... Тут я, впрочем, опять подумал, что в русском переводе это тоже оказывается не вполне понятно, ясней, пожалуй, звучит по-английски: “We demand the right to asylum for anyone denied human rights of the basis of a “crime of status,” be it sex work, gender or sexual orientation”.

Гент. Множество велосипедов на улицах, множество студентов. После моего выступления в университете мы шли по улице, в одном из прохожих мой спутник узнал бельгийского министра

труда: он шёл с женой и с детьми, возможно, из магазина. Как это замечательно! Я, заглядевшись на башни, чуть не столкнулся с велосипедистом, сказал: «Не хватало мне в Генте попасть под велосипед». — «Да еще под полицейский велосипед», — уточнил мой спутник. Полицейских здесь почти не видно, у них незаметная форма. Тем более никого с автоматами. Рассказывали, что премьер-министр ехал по улице на велосипеде, попал в аварию. Был большой шум в прессе: на тему о безопасности велосипедистов. Нужно все-таки попасть в нормальную жизнь, чтобы почувствовать: наша страна больна.

Самолёт Брюссель-Москва. На телевизионном экране стрелка показывает по географической карте: мы уже пересекли границу России. Вспомнилось, как я впервые летел в ФРГ в 88-м году и не по экрану — глядя в иллюминатор, определял: мы уже не в Советском Союзе, уже не в Польше, уже не в ГДР. Всё! Теперь меня в случае чего не вернут, я на свободе! Я не собирался оставаться в ФРГ, знал, что вернусь, но всё равно это чувство: после всех хлопот и разрешения выехать, после контроля — я хоть на время в свободной стране.

И обратное чувство, когда я за год до того возвращался из Чехословакии через Польшу, пересекал советскую границу. Пограничники с овчарками на вспаханной полосе между рядами колючей проволоки, таможенник спрашивает, нет ли у меня «литературки». Лозунг: «Добро пожаловать в социалистический лагерь!»

Москва, в метро. Первое впечатление в аэропорту: встречающая девушка с плакатом: VIP-зал. В Брюсселе такого, кажется, нет и, наверное, быть не может.

Современное состояние

В недавней переписке с Хазановым-Файбусовичем мы обсуждали интервью его знакомого, социолога Б.Дубина в «Новой газете». Я процитировал пассаж, где Дубин пишет о двух тенденциях в современной творческой среде России: Или ты делаешь свой продукт, который хорошо продаётся, или ты выгораживаешь свой мир вне массовой политики и массовой литературы... Это не порождает ни нового словаря, ни новых принципов, ни системы мысли». Эту уничижительную оценку можно отнести и к нам. Действительно ли мы совсем не способны «производить новые смыслы»? Дубин, правда, оговаривается: «Культурный прорыв не может быть героизмом горстки людей. Он должен сопровождаться структурными устройствами, которые будут держать и передавать этот импульс». Файбусович ответил, что это социологический подход, для него важнее общественные измерения, а не индивидуальные, и процитировал высказывание Адорно: «И все же самая одинокая речь художника парадоксальным образом жива тем, что она замкнута в своей одинокости. Именно потому, что она отказывается от истёртой коммуникации, она обращена к людям».

Не берусь судить, как у нас насчет культурных, интеллектуальных структур, способных обсуждать и рождать смыслы (институт моего знакомого Левады, у которого я много лет назад выступал на философском семинаре и в котором Дубин работает — это одна из таких структур? Кое-что хотелось бы с ним обсудить). Но что парализована, причём сознательно, общественно-политическая жизнь, это очевидно. Обсуждая заявление одного из банковских руководителей, который считает единственным гарантом стабильности в России нынешнего президента и призывает сохранить его во главе государства и дальше, иначе будет катастрофа. Я подумал, что если сейчас нельзя назвать ни одной авторитетной, известной обществу фигуры, которая могла бы оппонировать Путину — а это действительно так — можно говорить о катастрофе уже сейчас. Целенаправленно вычищено, как говорят, всё политическое поле, потенциальные лидеры не имеют реальной возможности заявить о себе, потому что средства массовой информации унифицированы, созданная государством партия и её молодёжное движение, которое называют сменой, — всё так же искусственно, как созданная когда-то фигура самого Путина, до этого ничем не проявившего себя, человека заурядных способностей. Впрочем, что я перечисляю? Катастрофа может развиваться замедленно, высокие цены на нефть до поры позволяют держаться. Ладно. Об этом кто-то ска-

жет и без меня, наверно, уже говорят. Мне остается только «выгораживать свой мир вне массовой политики и массовой литературы». Увы. Но неужели одинокий художник не может породить ничего ценного?

«Почему вы не пишете о политике?» – спросили меня в Генте. «Я о политике пишу, – ответил я, – но не в прозе, а в эссеистике». Пропустив неделю российских новостей, я по возвращении постарался наверстать упущенное. Удручающее ощущение нарастающей фальши, лжи, демагогии. Политический телеобозреватель, имени которого писать не хочу, поминает покойного Александра Яковлева: вначале у него были добрые намерения, но он не заметил, как демократия стала разрушать Россию. (Пересказываю своими словами.) И связывает имя Яковлева с делишками ельцинской «семьи», коррупцией, дефолтом. Но Яковлев после 91-го года от реальной политики отошёл, к ельцинским делам он отношения не имел. Проглатывают эту фальшь среди множества прочих. Неужели никто не откликнется, не возразит? Я пишу об этом – но опять для себя. Претензии прежде всего могу предъявить к себе самому, ссылаясь на возраст, профессию, просто личные черты, делающие меня неспособным к публичной деятельности. Моя работа – уединённая.

В сегодняшней «Новой газете» приводятся мнения известных деятелей, которые сводятся к тому, что для людей демократических убеждений сейчас не время заниматься политикой. Надо вернуться на кухни, обсуждать, как когда-то, «исторический процесс и своё место в нём». «Плетью обуха не перешибёшь, народ своей властью, в общем, вполне доволен». И т.п.

Чувство бессилия не добавляет уважения к себе. А ведь ничего не делать нельзя, это только ухудшает ситуацию...

Один из политических комментаторов, умный циничный технолог, заявил, что в России теперь надо работать над предотвращением революций. Я про себя заметил: предотвратить революцию всегда умели в Англии – и ещё умеют в Северной Корее. Слово это всегда имело эмоциональную окраску, положительную или отрицательную. Полезно вспомнить его смысл, перевести на русский язык. Революция – это переворот. Попыткой переворота был в 91-м году ГКЧП; протест против переворота перерос в другую революцию, к счастью, бескровную.

Я годами обсуждаю всё не публично, а на таких вот страничках, записываю стенографическими закорючками. Вчера попал на передачу, где обсуждалась тема «Бизнес и культура». В меру правильные общие места. Я мысленно вставлял реплики: сам бизнес – часть культуры, как спорт или мода. Можно бы рассказать, как я оказался в Германии, где огромным успехом пользовалась выставка из собраний Щукина и Морозова (в Эссене). Я тогда оказался в Дюссельдорфе у скульптора Юккера. Мы обедали в ресторане с японским искусствоведом, автором книги о дадаизме в Японии (кажется, так; мы разговаривали на двух языках, он хуже владел немецким, я английским). Мне запомнилась его мысль: экономический подъём послевоенной Японии объясняется, среди прочего, проникновением европейской культуры, в том числе живописи. Влияние тут не прямое, но его можно косвенно проследить. Потом (или в другой мой приезд) мы с Юккером оказались на вечеринке, где собралась городская финансовая элита; угощение называлось почему-то русским, там были блины с икрой. И за столом заговорили о выставке в Эссене; все восхищались Щукиным и Морозовым: выходцы из простых крестьянских семейств стали процветающими промышленниками – и проявили несравненный художественный вкус. Я спросил (вспомнив разговор с японцем): связан ли был их финансовый успех с интересом к искусству? Мне ответили утвердительно. А потом я спросил, есть ли сейчас в Германии меценаты такого же уровня, т.е. люди, которые не просто делают бизнес на искусстве, но для которых это личное дело. Мне ответили сначала отрицательно, потом кто-то вспомнил Мюллера, основателя Insel Hombroich. И на другой день меня в Hombroich отвезли, там в кафе я случайно познакомился с Мюллером – но это особое чудо, особый разговор. Об этом, думаю, остались более подробные записи в нерасшифрованной «Стенографии» 93-го года. Не уверен, что я вернусь к ним; решил хотя бы вкратце, «мемуарно» записать этот эпизод здесь. «Стенографию начала века» я понемногу все-таки ввожу в компьютер.

Николай I после разговора с Пушкиным сказал, что беседовал с умнейшим человеком в России. Извлёк ли он что-то из этой беседы? Впечатления Пушкина, кажется, неизвестны. Смешно, «Зарубежные записки» №11/2007

я много лет, еще с советских времен, пробовал вообразить разговор с руководителем страны. Я обсуждал положение страны с умнейшими людьми – сказать бы Горбачёву, Ельцину, что нам кажется очевидным, может, они что-то лучше бы поняли, что-то правильной сделали. Сейчас мне такие наивные до смешного фантазии в голову уже не приходят. Не так давно в Германии социал-демократические канцлеры Брандт и Шмидт по-человечески дружили с Генрихом Бёллем и Гюнтером Грассом (тогда еще не нобелевскими лауреатами), беседовали не без пользы для себя, да и книги читали. Сейчас политики вряд ли читают книги, мнение писателей перестало быть авторитетным, да и кто эти писатели?

Когда слушаешь, как разные люди, во Франции и у нас, обсуждают нынешние события во Франции, поджоги, погромы, ищут причины, пытаются оправдать поджигателей, объявляют попытки противостоять погромам нарушением гражданских свобод – чувствуешь, что говорящие это интеллигентные люди как-то смущены, словно стесняются, боятся признаться в этом себе, но в душе ждут, что несимпатичные им деятели всё-таки предпримут решительные, неприятные действия, положат конец безобразиям – и можно будет с чувством законного, почти брезгливого превосходства разоблачать этих врагов демократических свобод, нарушителей прав человека.

У нас это поневоле проецируется на российскую реальность, гораздо более безрадостную, чреватую не просто опасностями – кровью. Обсуждения остаются сотрясением воздуха – нет политической воли, конструктивных решений.

Открыл книгу Л. Гумилёва «Этногенез и биосфера земли», посмотрел наугад страничку, другую – захотелось заново вникнуть. Увы, чтение то и дело вызывало внутреннее сопротивление, порождало сомнения, требовало постоянной перепроверки, на которую моей эрудиции не всегда хватало. А он своей эрудицией откровенно упивается, сыпет не всегда обязательными именами, фактами, объединяя и трактуя их иногда поверхностно, иногда просто неверно. В каких-то частных областях (история гуннов, хазар) он несомненный специалист, вызывающий доверие. Грандиозная, отчасти поэтическая концепция требует особого осмысления. Но варьируется, например, в разных местах мысль о том, что смешанные браки ведут к вырождению и гибели этноса. «Потомство от экзогенных браков... гибнет в третьем-четвертом поколении». Османскую империю, сам турецкий этнос погубили инородцы, которых веками брали на службу, прежде всего военную. (Таких людей, перешедших в мусульманство, называли ренегатами, причем слово это первоначально не имело оскорбительного оттенка). «Эту этническую целостность развалили в XIX веке многочисленные европейские ренегаты и обучавшиеся в Париже младотурки». Поневоле примериваешь: а немцы и прочие европейцы на русской службе со времён Петра I, а грузины, татары и прочие жители Российской империи, получавшие русское дворянство (не говоря об одиозных евреях)? А правнук эфиопа, внук немки Пушкин – продукт вырождения? Там, где происходит «наложение этнических полей разного ритма, возникают антисистемы», – утверждает Гумилев.

Но сама заострённая постановка вопроса заставляет задуматься. «А так как за время существования человека на Земле все этносы давным-давно вступили между собой в контакты, то, казалось бы, антисистемы должны были вытеснить этносы, заменить их собой, уничтожить всё живое в своих ареалах... А ведь подобного почему-то не произошло. Значит, в мире есть какой-то могучий импульс, противодействующий распространению антисистем и, возможно, очищающий от них лик земли». Дальше говорится о явно неземном происхождении «пассионарных», как он их называет, толчков. «Близкий Космос принимает участие в охране природы».

Это написано около четверти века назад. Я, помнится, тогда начал сознавать, что недооценивал национальный фактор в современном, казалось бы, всё более глобализованном мире.

А сейчас я поневоле примериваю его концепцию к судьбам России – страны и русского «этноса». Одно неотделимо от другого. Страницы, где Гумилёв описывает периоды упадка, «сумерки» этноса, читаются, как злободневная статья: «В искусстве идёт снижение стиля, в науке оригинальные работы вытесняются компиляциями, в общественной жизни узаконивается коррупция». Можно цитировать много: потребительская психология, расслабленность, гедонизм, наркотики, сексуальная распущенность, пассивность общества, уничтожение природы. Можно добавить подробности новейшей этнической жизни. На Дальнем Востоке женщины всё охотней выходят

замуж за китайцев: они не пьют; китайское правительство целенаправленно поощряет браки своих граждан с русскими. Это происходит незаметно, но разрастается всё быстрее. Как разрастается исламское проникновение – оно и в Европе стало уже ощущаться болезненно, там отчасти пробуют сопротивляться, отчасти призывают к терпимости. Гумилёв не считает причиной отставания мусульманского мира в новое время неспособность к модернизации. Может, без неё и лучше: природа будет сохранней, девственные леса возродятся.

Но в России этнический кризис настолько связан с политическим, что не зря возникают разговоры об агонии страны (с этносом разбираться трудней). Я то и дело возвращаюсь к этой теме. Не помню, записал ли я, как много лет назад (кажется, ещё до Горбачева) спросил своего товарища: а как он себе представляет возможную катастрофу. Так она уже происходит, ответил он. Пустые магазины, поезда не ходят по расписанию, ежегодный неурожай, развал экономики. Это не мгновенный, вялотекущий процесс. С тех пор мы прошли через период надежд – кажется, отпускаем последние возможности.

Недавно Явлинский по радио опять бодро провозгласил: у нашей партии есть программа, что и как нужно сейчас сделать, подробная, с экономическими выкладками. Он всё еще думает, что достаточно людям прочесть правильную программу, проголосовать за правильную партию – и всё будет хорошо? Что мешают только происки сил, которые не допускают его до ТВ, манипулируют общественным мнением и т.п.? У других партий программы ещё правильной, обещания ещё круче. Почему голосуют за очевидных жуликов? Я тоже не сразу сумел понять. Вот, считаю себя вроде бы хорошим писателем – почему издают и читают не меня, а поставщиков пошлой макулатуры? Всё правильно, так и должно быть. Но я, писатель, могу надеяться на что-то в будущем. Правильную политическую программу не станут даже перечитывать, не состоявшийся политик окажется не существующим.

В «Лехаиме» замечательное интервью Алика Городницкого. Среди прочего, он говорит о «катастрофе» российской науки. «Фундаментальная наука в России – в трагическом состоянии. Мы потеряли целый ряд научных направлений и школ. Мы молодежь потеряли. А значит, мы потеряли будущее... Я, профессор и заведующий лабораторией академического элитарного института, получаю 110 долларов в месяц, а кандидаты мои получают в полтора раза меньше... И одни уезжают за рубеж, а другие уходят в бизнес... Физическая гибель науки – это гибель русской интеллигенции со всеми вытекающими последствиями: с созданием социальной основы для фашизма, с зарождением поколения жлобов и лавочников».

Более десяти лет назад, в статье 1991 года «Между безнадёжностью и надеждой» я цитировал письма академика Вернадского (1923-24). «Мне представляется положение в России мрачным». «Труд настоящим образом не оплачивается. Может быть, я отсюда скоро уеду». «Логически я благоприятного исхода не вижу». И в тех же письмах: «Научная работа в России не погибла, а наоборот, развивается. Несомненно, этого не должно было бы быть по логике, это иррационально, но это факт... В разговорах скажу, как это достигнуто и сколько погибло. Людей погибло». И дальше: «Я уверен, что всё решает человеческая личность, а не коллектив, elite страны, а не ее демос».

Я писал в своём эссе, что не совсем объяснимым образом, в условиях более страшных, чем нынешние, надежды Вернадского в какой-то мере оправдались. Сохранившаяся инерция, преемственность ещё породила новых людей, сохранялась тонкая, уязвимая плёнка (я её сравнивал с грибницей), на которой могло ещё что-то вырастать. Сейчас, боюсь, под угрозой уже эта плёнка, грибница.

Ведь примечательно: словом элита сейчас обозначаются не учёные, не философы, о которых пишет Вернадский, а больше политики, бизнесмены, нувориши, те же жлобы и лавочники, о которых говорит Городницкий. Перемены, так сказать, в генофонде могут оказаться необратимыми, если исчезнет преемственность, вырождаются школы.

Мне вспомнился один эпизод. В 1949 году я заболел туберкулёзным менингитом – болезнью, которая до изобретения стрептомицина считалась смертельной. Диагноз был не очевиден. Приглашённый врач посоветовал немедленно положить меня в детскую Морозовскую больницу, и там был проведён консилиум. Три врача, собравшиеся у моей постели, обсуждали болезнь на «Зарубежные записки» №11/2007

латыни (как было принято, чтобы больной их не понимал). Когда я рассказал об этом Жоржу Нива, он удивился. Не уверен, что и во Франции сейчас врачи смогли бы беседовать на латыни, скорей по-английски; не говорю о наших нынешних. Но в 49-м году этим врачам было около 50, они могли быть выпускниками ещё старого университета, учениками еще старых профессоров.

Одного из них я потом узнал ближе, это был профессор Фурер, один из изобретателей вакцины от детского полиомиелита (которой Советский Союз потом облагодетельствовал весь мир). Он собственноручно делал мне ответственные пункции – между шейных позвонков. Более простые пункции, между поясничных позвонков, делала, кажется, старшая сестра. Пункции эти делались регулярно, брали для анализа спинномозговую жидкость и через тот же шприц вводили только что дошедший до нас стрептомицин, который родители сумели где-то раздобыть, не знаю уж, за какие деньги. Эта ещё не опробованная методика сделала меня в 12 лет глухим на одно ухо. А мальчик помладше, в соседнем боксе, оглох совсем.

Мать этого мальчика, художница-мультипликатор, была немка. Помню разговоры в палате, каким образом ей удалось избежать высылки, остаться в Москве. Отсидел срок её муж, туберкулёзный грузин, который в войну попал в плен. Он бывал в палате; приезжал из Грузии и его отец, дед мальчика, старый тихий грузин. И о высылке немцев, и о лагерном сроке для военнопленного говорили, как о чём-то естественном, я понимал, что так было положено. Необъяснимым можно было считать только благополучный исход.

Эта немка-художница приносила в палату папку репродукций русской живописи, напечатанных, вероятно, за границей: каждая прикрыта папиросной бумагой, необычайно высокого полиграфического качества. Там, кажется, не было передвижников, но были Рокотов, Боровиковский, Левицкий, Венецианов. Оценил их я лишь потом.

Дневниковая эссеистика опять стала незаметно переходить в мемуары. Но даже записанные события более близких лет я вряд ли удосужусь расшифровать – разве что вот так вспомню иногда эпизоды.

«Don't be blue»

На асфальте у набережной Яузы кто-то написал мелом: «Скоро конец лета». И продолжил по кругу (со стрелкой): «Скоро начало осени». И дальше: «Будет зима». А потом, по кругу: «И снова будет тепло». Мне симпатично это подростковое философствование. И рядом тем же мелом по-английски: «Don't be blue / tomorrow is another day». Наверно, какая-то неизвестная мне песенка. И еще одна: «You don't need to open your eyes to see that / just close them & you will see some thing nobody can see». Как это хорошо!